

Я хочу еще раз выразить горячую признательность Пьеру де Лакретелю, Жоржу Кесселю, Кристиану Гремийону, Мадлен Мариньяк, Жильберу Сиго, Жозе-Андре Лакуру за ценную помощь, которую они оказали мне во время работы над этим томом; хочу также поблагодарить работников Национальной библиотеки и Национальных архивов за необходимое содействие моим изысканиям.

М. Д.

Пролог

29 ноября 1314 года, через два часа после вечера, двадцать четыре гонца в черном одеянии, украшенном эмблемами французского государства, выехали из ворот замка Фонтенбло и, пустив коней вскачь, углубились в лес. Дороги замело снегом, мрачное небо было темнее окутанной сумраком земли.

Двадцать четыре гонца скакали без отдыха до самого утра, скакали они и на второй день, и на третий; кто направлялся во Фландрию, кто — в Ангулем и Гиень, кто — в Доль в графстве Конте, кто — в Ренн и Нант, в Тулузу, в Лион, в Эг-Морт, в Марсель, подымая с постели представителей местной власти, дабы те объявили в каждом граде и поселении французского государства, что король Филипп IV Красивый испустил дух. Вслед им, разрывая мрак, несся со всех колоколен погребальный звон; с каждым часом ширилась и росла зловещая волна набата, и затихла она, лишь докатившись до границ Франции на севере, востоке и юге.

После двадцатидевятилетнего царствования преставился не знавший слабости король, прозванный Железным; скончался он в возрасте сорока шести лет от кровоизлияния в мозг, и густая тень окутала французское государство, ибо день его смерти совпал с солнечным затмением.

Итак, свершилось последнее, третье проклятие, что восемь месяцев назад бросил в лицо королю заживо сожженный на костре Великий магистр ордена тамплиеров.

Высокомерный, умный, настойчивый и скрытный государь, Филипп Красивый столь многим отметил свое царствование и свое время, что казалось, в вечер его смерти перестало биться сердце самого королевства. Но не умирает нация со смертью одного человека, как бы велик он ни был: иные законы определяют рождение и упадок государств. Имя Филиппа Красивого осталось памятно французам как имя короля, который сжигал на кострах своих недругов и повелел уменьшить долю золота в монете Франции. Зато очень скоро забылось, что он обуздал знать, старался поддерживать мир, преобразовывал законы, строил крепости, чтобы оградить поля Франции от вражеских нашествий, уравнил в правах провинции, сзывал на ассамблеи горожан, дабы заслушать их мнение, и всеми силами охранял независимость Франции. Но едва лишь успела окоченеть его рука, едва лишь угасла эта железная воля, как сразу же началась

необузданная игра личных интересов, ущемленных самолюбий, погоня за титулами и деньгами.

Две партии вступили в борьбу и свирепо оспаривали власть друг у друга: с одной стороны — реакционный клан баронов, возглавляемый графом Валуа, родным братом Филиппа Красивого; с другой стороны — клан высших сановников, руководимый Ангерраном де Мариньи, первым министром и коадьютором покойного монарха.

Избежать столкновения, которое назревало в течение долгих месяцев, или разрешить его мог только сильный государь. А двадцатипятилетний Людовик, король Наваррский, унаследовавший отцовский трон, был малопригоден к этой роли; единственное, чего он добился, — это репутации рогоносца и нелестного прозвища: Сварливый.

Жена его, Маргарита Бургундская, старшая из принцесс, обитавших в Нельской башне, была заключена в крепость за прелюбодеяние, и жизнь ее явилась своеобразной ставкой в борьбе между соперничающими партиями.

Но все тяготы этой борьбы, как и всегда, ложились на плечи тех несчастных, кто ничем не владел и не мог даже ни о чем мечтать... Да и зима 1314/15 года, как на грех, выдалась суровой и голодной.

Часть первая

На заре царствования

ГЛАВА I

Узницы Шато-Гайара

На меловом утесе, напоминающем формой своей шпору, у подножия которого лежит городок Пти-Андели, высится замок Шато-Гайар, господствуя над всей Верхней Нормандией.

Как раз в этом месте Сена среди тучных лугов образует широкую излучину, и Шато-Гайар, как страж, озирает гладь ее вод на десять лье вниз и вверх по течению.

Еще и сегодня развалины этой грозной твердыни приковывают к себе взгляд человека, тревожат его воображение. Наряду с Крак-де-Шевалье в Ливане и башнями Румели-Гиссар на Босфоре смело можно назвать в числе памятников военной архитектуры Средневековья и крепость Шато-Гайар.

Созерцая эти сооружения, воздвигнутые с целью охранять уже завоеванные земли или угрожать соседям, невольно обращаешься мыслью к тем людям, которые отделены от нас всего лишь пятнадцатью-двадцатью поколениями, к тем людям, которые возвели эти цитадели, укрывались

и жили за этими крепостными стенами, разрушали эти крепостные стены.

В описываемую нами эпоху замок Шато-Гайар насчитывал всего сто двадцать лет. По приказу короля Ричарда Львиное Сердце его построили в течение двух лет, в обход договоров и с целью грозить отсюда королю Франции. Увидев свое детище, воздвигнутое на утесе, сверкающее белизной свежей каменной кладки, опоясанное двойным кольцом крепостных стен, с верками, спусковыми решетками, амбразурами, с тринадцатью башенками и главной двухэтажной башней, Ричард воскликнул: «Какой веселый замок!» — откуда и пошло название Шато-Гайар¹.

Десять лет спустя Филипп-Август вместе с прочими нормандскими землями отобрал у Ричарда и его любимую крепость.

С тех пор Шато-Гайар перестала быть военной крепостью, ее превратили в королевскую тюрьму.

Здесь заточали важных государственных преступников, чью жизнь король желал сохранить ценой вечного лишения свободы. Тому, за кем убрали подъемный мост Шато-Гайара, уже никогда не суждено было увидеть белый свет.

Целый день над башнями с карканьем кружилась воронье; зимними ночами у подножия крепости выли волки. Только направляясь в часовню слушать мессу, узник ненадолго покидал свою

¹ Château-Gaillard (*фр.*) — «веселый замок».

темницу и по окончании службы вновь возвращался туда, где ждала его смерть.

Ныне — в последнее утро ноября 1314 года — крепость Шато-Гайар со всеми ее укреплениями служила местом заключения для двух принцесс, и вся стража зорко стерегла двух женщин — одной из которых минул двадцать один год, а другой восемнадцать, — двух кузин, Маргариту и Бланку Бургундских, бывших жен сыновей Филиппа Красивого, уличенных в прелюбодеянии с королевскими конюшими и заточенных после неслыханного еще при дворе Франции скандала здесь навеки.

Часовня помещалась внутри второго кольца укреплений. Была она высечена в самой скале, там царил мрак, там царил холод: два-три окошка да голые стены.

Перед алтарем стояло всего лишь три сиденья: два слева предназначались для принцесс и одно справа — для коменданта крепости.

В это утро в глубине часовни выстроилась стража, на лицах лучников застыло привычное выражение скуки, словно их отрядили за фуражом для коней.

— Братия, — возгласил капеллан, — вознесем моления свои с особым благочестием и рвением.

Он откашлялся, помолчал немного, как будто та важная весть, что собирался он сообщить своей немногочисленной пастве, повергала и его самого в смятение.

— Господь Бог призвал к себе нашего возлюбленного короля Филиппа, — начал он. — Печаль великая над всем королевством.

Обе принцессы разом повернули друг к другу свои личики, полускрытые оборками чепцов из небеленого холста.

— Пусть те, кто хулил или порицал его, раскаются в сердце своем, — продолжал капеллан, — пусть те, кто таил при жизни обиду против него, вознесут заупокойные моления об усопшем, ибо любой человек, велик ли он или ничтожен, равно нуждается в милосердии, представ перед судом Господним...

Принцессы упали на колени и склонили голову, желая скрыть свою радость. Они уже не чувствовали холода, они забыли обо всех своих страхах и бедах: безбрежная волна надежды оживила их сердца; и если они обращались сейчас к Богу, то лишь затем, чтобы возблагодарить Создателя, избавившего их от свекра-тирана. Впервые за семь месяцев, прошедших со дня их заключения в Шато-Гайаре, к ним дошла с воли добрая весть.

Стражники, толпившиеся в глубине часовни, перешептывались, задавали друг другу вполголоса вопросы, переминались с ноги на ногу — словом, подняли вовсе не подобающий случаю шум.

— А вдруг возьмут да выдадут нам по медному грошу?

— С какой это радости — оттого, что король помер?

— Да мне говорили, так принято.

— Держи карман шире, за мертвого ничего не дадут, вот, может, за нового помазанника еще раскошелятся.

— А как звать нового короля?

— Людовик Святой был по счету девятый, стало быть, выходит, наш будет зваться Людовиком Десятым.

— А будет он хоть воевать? Надоело в этой дыре сидеть без толку!

Комендант крепости обернулся и грубо приказал:

— Молиться!

Но и самого коменданта терзали заботы. Ибо старшая из вверенных ему узниц приходилась супругой его величеству Людовику Наваррскому, восшедшему ныне на престол. «Вот теперь и стереги королеву Франции», — думал про себя комендант крепости.

Не так-то просто состоять тюремщиком при особах царствующего дома, и, пожалуй, самые скверные часы в своей жизни провел комендант Робер Берсюме по милости двух наголо обритых узниц, которых доставили сюда в конце апреля под эскортом сотни лучников во главе с Аленом де Пареем, на повозках, обтянутых черной материей. Пусть польщено тщеславие, но зато сколько тревог, сколько хлопот! Две молодые женщины, такие молодые, что, как бы они там ни нагрешили, невольно поддаешься чувству жалости... и краси-

вые, даже в уродливых своих рубищах, такие красивые, что трудно, встречаясь с ними изо дня в день в течение семи месяцев, сохранять спокойствие. Соблазнят ли они кого-нибудь из стражников, убегут ли из темницы, повесится ли одна из них, подцепят ли обе какую-нибудь смертельную болезнь, или внезапно произойдет в их судьбе неожиданный поворот (с этими придворными интригами всего жди!) — во всех случаях виноват будет он, виноват, что обращался с ними слишком сурово или, наоборот, слишком мирволил им, — словом, покуда они здесь, на повышение в должности можно не рассчитывать. А ведь ему, как и капеллану, узникам и стражникам, ничуть не улыбается мысль окончить свои дни и свою карьеру в этой цитадели, обвеваемой всеми ветрами, окутанной всеми туманами, построенной с расчетом на две тысячи солдат и насчитывающей в своих стенах только полтораста, в этой цитадели, возвышающейся над долиной Сены, в проклятом этом краю, где даже война обходит их стороной.

«Тюремщик королевы Франции, — твердил про себя комендант, — этого только недоставало».

Никто не молился, но каждый с самой богомольной миной следил за службой, думая о себе и о своих делах.

— *Requiem oeternam dona eis domine...*¹ — выводил капеллан нараспев.

¹ Вечный покой дай ему, Господи... (лат.)

Творя заупокойные молитвы, капеллан с неистовой завистью думал о счастливой доле тех священнослужителей, что, облачившись в богатые ризы, отправляют сейчас ту же заупокойную службу под гулкими сводами собора Парижской Богоматери. Опальный доминиканец, мечтавший в свое время занять пост Великого инквизитора, печально оканчивал свои дни в качестве капеллана при узилище. И он тоже спрашивал себя, не переменится ли к лучшему при новом царствовании его злосчастная судьба.

— *Et lux perpetua luceat eis...*¹ — подхватил комендант крепости, с завистью представляя себе, как гарцует сейчас на коне во главе погребальной процессии счастливчик Ален де Парей, капитан королевских лучников.

— *Requiem oeternam...* Выходит, даже по чарочке не поднесут? — спросил вполголоса стражник по прозвищу Толстый Гийом у помощника коменданта Лалена.

А две пленные принцессы старались не проронить ни слова, боясь выдать свою великую радость.

Конечно, в этот день во многих церквах Франции многие люди искренне оплакивали кончину короля Филиппа, но большинство не сумели бы даже объяснить, какое именно чувство исходит из их глаз слезы: просто они хоронили короля,

¹ О свете немеркнущий... (*лат.*)

под властью которого жили, и вместе с ушедшим королем ушла их молодость.

Но не в тюрьме Шато-Гайар следовало искать подобные чувства.

Едва лишь заупокойная месса окончилась, Маргарита Бургундская первая шагнула к коменданту.

— Мессир Берсюме, я желала бы поговорить с вами о весьма важных предметах, касающихся и вас лично, — произнесла она, пристально глядя ему в глаза.

Когда Маргарита Бургундская погружала свой взгляд в зрачки тюремщика, он всякий раз испытывал непонятное смущение, а сегодня и подавно.

Берсюме невольно потупил глаза.

— Я выслушаю вас позже, мадам, — сказал он, — только обойду дозором крепость и сменю караул.

Потом, обратясь к своему помощнику Лалену, приказал ему препроводить принцесс обратно в башню и, понизив голос до полупшепота, велел вести себя сугубо осторожно.

В башне, служившей узилищем Маргарите и Бланке, имелись всего три высокие круглые залы, расположенные друг над другом и схожие до мелочей, — в каждой был камин с колпаком, сводчатый потолок покоился на восьми арках; комнаты эти были связаны между собой винтовой лестницей, проложенной в толще стены. В нижней зале дежурила стража — та самая стража, которая

доставляла капитану Берсьюме столько тревог и забот, которую приходилось сменять каждые шесть часов и которую, к великому его ужасу, в любое время могли подкупить, ввести в соблазн или одурачить. Маргариту держали в зале второго этажа, а Бланку — третьего. На ночь запиралась крепкая дверь на середине лестницы, разделявшая покои принцесс, в дневное же время им было дано право общаться между собой.

Когда Лален ввел узниц в башню, они не обменялись ни словом, обе ждали, чтобы затих шум его шагов, привычный скрип петель и скрежет замков.

Только тогда они осмелились переглянуться и в невольном порыве бросились в объятия друг другу.

— Умер! Умер! — сорвался с их губ ликующий крик.

Счастливый смех сменялся рыданиями, они кричали, обнимались, плясали от радости и твердили:

— Умер! Умер!

Затем обе сорвали ненавистные холщовые чепцы и с облегчением тряхнули короткими кудрями, не успевшими еще отрасти за полгода тюремного заключения.

Черные колечки вились вокруг лба Маргариты. Густые неровные пряди цвета соломы покрывали головку Бланки. Она провела ладонью по непокорным волосам, откидывая их со лба на за-

тылок, и, вопросительно взглянув на кузину, воскликнула:

— Зеркало! Первым делом я хочу, чтобы мне дали зеркало! Скажи, Маргарита, я по-прежнему хорошенькая или нет?

Бланка говорила так, словно с минуты на минуту им должны вернуть свободу и самое главное теперь было позаботиться о своей внешности.

— Как, должно быть, я постарела, если ты задаешь мне такой вопрос! — вздохнула Маргарита.

— Нет-нет, — запротестовала Бланка. — Ты все такая же красивая, как и прежде.

Бланка произнесла эти слова с искренним убеждением: совместные страдания не позволяют видеть плачевных перемен во внешности своего товарища по заключению. Маргарита отрицательно покачала головой; она-то знала, что Бланка заблуждается.

Все, что пережили они обе с той роковой весны: трагедия, разыгравшаяся в Мобюиссоне в самый разгар их счастья, суд, казнь и пытки, которым в присутствии принцесс подвергли их любовников на главной площади Понтуаза, оскорбительные выкрики толпы, собиравшейся на всем пути следования, чтобы поглазеть на молоденьких преступниц, затем полгода тюремного заключения, злоеющий вой ветра в трубах, удушающий зной летом, когда солнечные лучи раскаляют камень, ледяной холод в осеннюю пору, жидкая похлебка из гречихи, составлявшая весь их обед, грубые, как влася-

ница, рубашки, выдаваемые раз в два месяца, узенькое, словно бойница, окошко, откуда, сколько ни нагибайся, сколько ни верти головой, виден лишь шлем лучника, мерно шагающего взад и вперед, — все это оставило неизгладимый след в душе Маргариты, и она отлично понимала, что эти изменения не могли не коснуться также и ее внешности...

Возможно, восемнадцатилетняя Бланка с ее удивительным легкомыслием и почти детской беспечностью, без всякого повода переходящая от самого безнадежного отчаяния к самым необоснованным надеждам, Бланка, способная забыть любое горе только потому, что на гребне противоположной стены защебетала птичка, и радостно воскликнуть, улыбаясь сквозь еще не просохшие слезы: «Маргарита! Слышишь? Птичка поет!» — Бланка, верящая в предзнаменования, в любое предзнаменование, и мечтающая с утра до ночи, как иные женщины с утра до ночи перебирают четки, — Бланка, выйдя из темницы, могла бы, пожалуй, обрести свои бывшие краски и чувства, живость взгляда; но Маргарита — никогда. То, что надломилось в ней, не могло ни срастись, ни распрямиться.

С первого дня заточения она не проронила ни слезинки; и точно так же не было в ее душе места раскаянию, угрызениям совести, сознанию своей вины и сожалению.

Исповедовавший ее еженедельно капеллан всякий раз ужасался подобному закоснению во грехе.